

Владислав ПОПОВ

КРАСНЫЕ КАБЛУЧКИ

Рассказ

Митя любил март, синий мартовский воздух, запах холодной талой воды. В марте все по-другому, все не так, не по-зимнему: и деревья другие, особенно тополя и старые вербы – веточки у них гибкие, и чудится, уже проснулись и дышат, прислушиваются, и кора припухла. И крыши у сараев другие: оттаяли по краешку и пахнут пивными опивками.

У мордобойки выкатывают на подмерзший снег пузатые деревянные бочки, и тетя Кларисса стоит в дверях и курит свою длинную ко-ричневую сигаретку и смотрит, как кружатся голуби. Урчит грузовик. Гремят доски для покатов. Митя останавливается и ждет, когда будут опорожненные бочки в кузов закатывать. Пивом несет из мордобойки, и еще чем-то остро-соленым, пряным, словно оржавелым.

Март. Маются галки. Пароход по руслу бредет. Плывут над домами желто-рыжие мачты, а потом труба с синеватым дымом, и слышно в морозно-талом воздухе, как, с шорохом расступаясь, раскатывается лед. Весна! И даже гудит пароход по-весеннему: туго, сыро, протяжно – предупреждает: дорогу дайте!

Совсем никуда не хочется идти, да бабушка отправила:

– Поди! Может, Густав твоим папой станет!

А Мите не хочется ни идти, ни нового папы. Он мнется, глядит то-скливо.

– А ты пойди, познакомься. Он сапожки маме сошьет! Сапожники знаешь какие богатые! Всегда при деньгах. Он и тебе ботиночки сладит: и на зиму, и на лето. Пойди, посиди с ним. Да подбери губу-то! – И уже

Владислав Владимирович Попов – русский поэт и прозаик. Родился в 1961 году в Архангельске, в учительской семье. Автор трех сборников стихов и двух прозаических книг – «Ворота в синее поле» и «Росяной хлебушек». Член Союза писателей России. Председатель Архангельского регионального отделения Союза писателей России. Лауреат премии «Имперская культура» им. Э. Володина. Лауреат Всероссийской литературной премии «Чистая книга» им. Федора Абрамова в 2020 году в специальной номинации «За вклад в развитие северной литературы». Лауреат Шукшинской литературной премии 2024 года за книгу «Росяной хлебушек».

Сейчас живет в деревне Покшеньга Пинежского округа Архангельской области.

напяливает на Митю шапку, ищет его рукавички. – Да пуговики-то застегни! Экий ты урос!

И тетя Нэля туда же:

– Густав – он хороший! Такой обходительный! М-м! Красавец мужчина! Глаза как сливы. Смотри, и тебя научит сапожки кроить, и богатый станешь, как Густав!

Вот и пошел Митя.

Ходит мартовский ветер, отдувает полу его длинной, на вырост, курточки. На пожарной каланче колокол светится. Пусто на улице. Только Митя, только ветер. Только пароход с желтыми мачтами. Правда, это не мачты больше, а краны – так дядя Володя объяснял: он стивидором в порту работает. И Мите жалко отчего-то, что это не мачты, жалко, что нет больше парусных кораблей: фрегатов, бригантин, чайных клиперов. Вечерами он их рисует, обмакивает кисточку в воду, проводит по бумаге, а потом кладет на сырое акварельную краску и смотрит, как наливается ветром парус.

Убрел пароход. Наверно, мимо Льгова идет, крошево льда мешает. Плывет в тумане капитанская рубка и скошенная пароходная труба.

За каланчой роща. За рощей сапожная мастерская: низенький домок с широкими окнами – во всю стену, будто художник в доме живет.

У Густава волосы черные, густые, кудлатые, на лоб падают и словно сужают его. Лицо медное. И глаза большие, как сливы, уставятся и глядят не мигая. И весь он смуглый, темный, замешанный густо и плотно, не провернешь. И Мите неловко рядом с ним. Вчера сидел Густав на общей кухне, тяжелый, как медведь, пил стаканом красное вино. А мама смеялась и все толкала Митю в плечо:

– Ты чего такой? Поговори с дядей! – и тут же объясняла Густаву, будто стыдилась: – Он у меня стеснительный!

– Женское воспитание! – отвечал Густав и смотрел, не мигая, на Митю, разглядывал, что из Мити скроить можно. Откусывал блестящими зубами задранный ноготь, тянул его, как пробку из бутылки, вместе с кровью.

– Ой! – передергивала плечами тетя Нэля и искала салфетку.

И Митя ежилась, глядел заворуженно, как проступают на салфетке красные пятна.

Зайти стыдно. Митя топчется на месте, сердится, что громко скрипит крылечная ступенька, зачем-то обмахивает веником свои ботинки. И командует сам себе: надо! Толкает дверь сначала в холодные кисловатые сенцы, а потом в мастерскую и жмурится от яркого свету и густого тепла.

Натоплено у Густава. Железная печка в углу постанывает. А сам Густав за деревянным заборчиком, загородкой, как на почте. Сидит, развалясь, на стуле и чай пьет. И на ногах отчего-то серые валенки с галошами. Увидал, обрадовался, втащил Митю за заборчик, усадил напротив, локтем отгреб куски кожи со стола, гвоздики, подметки, разную непонятную всячину, постелил газетку.

– Давай чай гонять! Наветрился, поди? – И налил доверху полную кружку.

Митя притронулся и обжегся.

– Привыкай! – смеется Густав. Зажимает в ладони баранку, хрупает, сыплет обломки в чай, кружит ложечкой и глядит, хохочет, на Митю. Трясется на круглом животе фартук, провисает между колен чашей, и в чаше дрожат и перекатываются, как в сите, белые крошки.

Митя вместе с воздухом захватывает горячий обломочек из своей кружки, перекатывает во рту. Жжет язык. Синий мартовский воздух сосется в трещинку окна, дотрагивается до лица, тонкий, свежий, морозный. Заносит голосок синицы. Побрякивает водосточный желоб. Идет с Двины весенний ветер.

Сидит Митя, смотрит, как трудится Густав. Надевает на сапожную лапку старый ботинок, прилаживает на каблук новенькую резиновую набойку. Пахнет едучим клеем. Постукивает молоток. Гвоздики мелкие, как клювики, и блестят на солнце мелким самоварным золотцем.

– Древний ботинок! – уважительно говорит Густав. – Но кожа-то настоящая, из дорогих. Ну да ладно, послужит еще. Приметил, как каблук-то стерся? С пятки сношен. Видал я, как в этих ботинках дядька Загвоздин по причалу носится. Руками машет, торопится. Носок-то все задирает, а пяткой чиркает. Вот я ему сейчас подковку поставлю, с цоканьем теперь летать будет! У кого пятка сношена, те не скупятся! Запросишь пятерку – синенькой и заплатят! Такой характер! В нашем деле, Митя, всегда при деньгах будешь. Тут бабушка твоя права. И богатые, и бедные, пока ботинки носятся, все ко мне пойдут, понесут денежки.

Хохочет Густав. Стучит, постукивает молоток. Пальцы у Густава толстые, черные от вара, щетинистые. Большой палец изолентой обмотан – уколол крючком-шильцем. Он привстает, хрустит плечами, поудобнее усаживается на свою старинную липку, ловко прищлепывает на колодку вырезанный по форме кусок кожи – заготовка! – натягивает к носку кожу, прижимает уколотым пальцем. Ноготь короткий, как стертая лопаточка. Просит, хитро посмеиваясь:

– Ну-ка, подсунь мне цивиликов! – и подсказывает: – В жестяной крышечке. Гвоздочки такие, на затяжку идут.

И сильно обжимает кожу, часто простукивает коротким молоточком. И ловко получается, быстро. Интересно Мите стало: вот как сапоги делаются!

– Я какие угодно сапоги сошью! – хвастается Густав: – Дай только обмерочку сделать. И мамке твоей тоже сапоги будут, каблочки красненькие!

Густав встает, переваливаясь, идет в угол, отмахивает в сторону захватанную занавеску, и видит Митя: на деревянной полке стоят сапоги и ботинки, уже починенные, у всех номерочек подклеенный, и среди них один сапожок черненький, и каблочок у него красненький.

– Вот сапожок твоей мамке! Носочек острый, утюжком, по-модному. Правый только осталось сшить! Нравится? То-то! Ни у кого таких каблучков не будет! Только у твоей мамки. Ну-ка, держи! Легонький?

Митя конфузливо улыбается. Ему неловко и радостно: и вправду сапожок красивый! И молния узенькая, будто и нет ее. И легкий как перышко!

– Кожа – шевро! Дорогая кожа. Красивая у тебя мамка, не жалко! – Густав улыбается, задергивает занавеску, и снова натягивается кожа, простукивается молоточком.

Сидит Митя, и скучно уже немного, и все вокруг давно рассмотрено с тайной внимательностью: и печь железная, и часы с боем в деревянной коробке, и шкаф со стеклянными дверцами, где неведомое прячется, и шилья разные в руках подержал: одни кругленькие, другие как лопаточки, третьи совсем как крючок. И узнал уже, что такое чепрак, и штафирка, и швайка, и косячок понравился – вот бы такой ножичек в хозяйстве иметь, шпон на кораблики резать!

Вот и солнце из окон ушло. Густав включил лампочку, сидит, накалывает по коже шильцем. И рыбкой оно мелькает: нырнет – вынырнет. Объясняет Густав: кант вручную пристрачивать буду...

И совсем тоскливо становится Мите, ерзает, вздыхает тихонько. И вдруг хлопает дверь, и учительница Мити, Валентина Григорьевна, в мастерскую заходит, ботики в починку приносит: кнопочки не застегиваются, поменять надо. Глянула на Митю и спрашивает с усмешкой плохо спрятанной:

– А ты, Митя, что здесь делаешь?

– А я в гости пришел, – честно говорит Митя. – Меня бабушка отправила.

– Ах, да-да! Конечно! – она охотно соглашается, кивает, и Мите совсем не нравится ее догадливое «да-да», он хмурится и отворачивается к окну.

– Подмастерьем станешь! – будто подначивает учительница. – Только бы уроки не запустил!

– Подмастерьем! – эхом отзывается довольный Густав, вертит в руках тряпичные ботики, нажимает на кнопочки. – Я ведь тоже сначала в подмастерьях сидел, приглядывался, а потом с мелочей начал. Кнопки-то новые поставим, а чтоб одинаково было, разом все и поменяем! – И вот уж пишет ремонтную квитанцию, засовывает в ботик.

– Митя? Нравится тебе здесь? – спрашивает учительница.

Митя стыдливо улыбается и глядит с тоской за спину Валентины Григорьевны. Дверь не прикрыта, и улицей тянет.

– Сапожник – профессия денежная, – говорит между тем учительница. – Прокормит! Тут и учиться-то много не надо, – и поглядывает на Митю с любопытством, словно еще о чем-то спросить собирается. И Митя чувствует это и краснеет, словно стоит у доски и ждет каверзного вопроса.

– Митя? А мама-то как? – наконец спрашивает она.

– Хорошо.

– Ну теперь-то, конечно, хорошо! Теперь-то под приглядом будешь! Мальчикам все же нужно воспитание мужское! Он, Густав Янович, все

на пристани околачивается, все кораблики разглядывает. Пора бы и к делу настоящему пристраиваться. Так ли, Митя? Та-ак!

Густав Янович потягивается, блестит сытыми глазами и зевает.

– За ботиками во вторник приходите, Валентина Григорьевна, к вечеру. Как новенькие будут.

Митя с полчаса ждет, а потом домой отпрашивается:

– Мне еще уроки сделать надо и очередь отвести – лед с мостков посбивать бы надо.

– Беги! – лениво разрешает Густав, косится на часы в деревянной коробке. – Мамке-то привет передай! – и почесывает живот под фартуком.

Митя выскакивает, бежит по мосточкам. Дощечки по краю оттаяли, и темнеют, и радуют Митю сырым, весенним. И дружно вокруг со всех крыш капает. И двери пожарной части яркие, синие, будто водой облитые. Зеленеет небо, мягкое, теплое. Весна ранняя. И радостно Мите, что от Густава вырвался, что каникулы скоро и он яхту успеет достроить, оснастить треугольным парусом.

Бежит Митя, и вместе с ним бежит по Двинской улице ветер, колотятся тополиные ветки, посвистывают провода.

На перекрестке Митя мнется, поглядывает нерешительно на реку, а потом бросается к ней, скачет по тропинке, подныривает под ивовые кусты, скатывается по трапику вниз. Дышит река. Кривые деревянные сваи рыжи от вечернего солнца. И на каждой белое колечко натерто канатом. Напротив в ледяном крошеве ворочается черный пароходик, окутывается сердитой копотью и ползет по руслу неуклюжей галошей, подминает льдины. Митя любит этот пароходик, пару раз он с мамой переправлялся на нем на правый берег. И название у пароходика чудное – «Радость»!

Митя не спеша шагает по речной пристани, тянет речной воздух. И запах старой, намоченной доски примешивается к речному. На другом берегу трамвайчик женатый бежит, в Соломбалу торопится, дребезжит, постукивает, и, возможно, кто-то сидит сейчас в вагоне и смотрит на Митин берег и, может быть, его, маленького, видит.

– У нас река глубокая! Сорок девять метров наибольшая глубина, – говорил на кухне дядя Володя. – Во-он какие океанские корабли принимаем! Со всего свету.

Курит дядя Володя какие-то длинные, как карандаши, сигареты «Мог» с ментолом, у иностранных моряков на что-то выменивает, и они мятной конфетой пахнут. И всем соседям нравится, и даже на общей кухне дяде Володе разрешают именно «Мог» курить.

Митя сидит рядом с ним на скамейке и слушает про острова и корабли. И страшно представить ему такую глубину речную. Дядя Володя смеется. На груди у него синий пароход наколот. Дымит тремя трубами, на всех парях по океану мчится.

Но не только пароходы из разных стран по реке ходят: весной и тюлени заглядывают, выставляют любопытную голову и любуются на пирс, на краны, на трубу заводскую, на складки накатанных бревен. А порой

по большой воде и белухи заходят, за семгой гонятся, белые, как весенние льдины. И ждет Митя каждую весну прихода этих белух. С мальчишками по двору он бесстрашно спускается с причала, бежит, размахивая руками, по скользким бонам, садится на плитку и ждет: вдруг появятся? Вчера только с катера видели, значит, и сегодня будут. Завидят мальчиков и подойдут поближе – они ведь тоже любопытные!

И весна, и тюлени, и белухи – все казалось Мите каким-то необъяснимым чудом. Качаются боны, стучатся о них волны, толкутся у самых ног. И птицы летят с юга до края земли. И друг Толик сидит с удочкой, курит стащенную у отца папироску, и пахнет от него свежей весенней рыбой.

Холодеет к вечеру. Уходит солнце за Корабельный остров. Горопится Митя домой. В деревьях тонко и грустно пищит синица, будто от своих отстала, потерялась. Дóма, над крылечком, едва капает – соринка малая, да и та собирается долго...

– Ну, как там, у Густава? – нетерпеливо спрашивает бабушка. Накладывает ему оладий и чай с лимоном готовит, как он любит, покрепче.

– Никак, – говорит Митя. – Хорошо.

– Интересно тебе было?

– Сначала интересно, а потом скучно.

– Ходи к нему! Он тебе ботиночки сошьет.

– А мне и в своих хорошо, – грубовато отвечает Митя. – Я не хочу на сапожника учиться. Я в море хочу ходить, как дед Матвей.

– Не дерзи! – сердится бабушка и свое начинает, – Мама счастье себе нашла. Такая пара красивая! Вчера Густав Янович конфет шоколадных принес и кисточку мимозы. Стоит, костюмчик серенький в полосочку. Галстучек. Картинка! Учись! Будешь какие угодно сапожки кроить, денежку зарабатывать. Он тебя усыновить хочет!

Молчит Митя, и уже чаю не хочется. Настроение пропало. «Кисточка мимозы! – думает он сердито. – Как ей нравится это слово! Кругом у нее одни кисточки: кисточка рябины, кисточка винограда... Скорей бы мама пришла! Все не идет, не идет, и за окном совсем сине стало...»

– Шьет ли Густав сапоги маме? – не унимается бабушка. – Не обманывает?

– Левый уже сшил, – нехотя сообщает Митя. – Хвастался! Сапог черный, а каблук красный. Рассказывал, в Италии такие носят. Каблучки только из дерева делают, красной кожей обтягивают.

– В Италии! – недоверчиво качает головой бабушка. – Может, и в Италии. Золотые руки у Густава! Ходи к нему, Митя! А матросы – что? Только водку пьют, полгода земли не видят!

Митя сердится и уходит в свою комнату. Волнуясь, выкраивает из картона треугольные паруса, прилаживает к мачте: подошли! Мама теперь по ним из плащевой ткани настоящие сострочит. Вот бы на палубе такой яхты самому постоять!

Тикают часы. Мягко горит настольная лампа. Глядит в сумерках со стены карта полушарий. Светятся в стеклянных рамочках парусники

Петра Великого – «Полтава», «Гангут» и «Принцесса Анна». Хорошо сидеть с книгой в стареньком кресле, разглядывать рисунки, ждать шагов мамы.

Эти шаги ни с какими не спутаешь! Вот взбегает она по крылечку, по привычке постукивает сапогом о порожек. Воротничок пушистый снегом пахнет. Глаза смеются. Оправдывается: с Густавом гуляла!

Бабушка, довольная и торжественная, снова налаживает чай, но маме нисколько не хочется – такая она взволнованная.

– Предложение делал? – торопится бабушка, придвигает оладушки и варенье.

– Какое предложение? Что ты? – смеется мама и вся светится. Отпивает чай маленькими глоточками. Смотрит на Митю как-то отстраненно и улыбается.

– Он шьет тебе сапоги! – объявляет бабушка. – Разве не говорил? А вот Митя все выведал! Каблучки у них красные, итальянские!

– Он говорил, – перебивает мама. – Говорил! – и все не сводит с Мити вопросительных глаз. – Хорошо тебе было у Густава?

Митя краснеет. Совсем о другом хочется ему говорить: о яхте, о парусах, о каникулах. А в маме будто музыка играет. И она только себя слушает, свою особую музыку. Отводит Митя глаза – вот-вот слезы закапают.

Густав! Густав! Скоро весь дом заполнится Густавом. И кажется Мите, уже и сейчас лежат по всем комнатам его штафирки и кожаные подметки, острые шильца и ботинки с квитанциями. И вот-вот объявятся волосатые Густовы руки и начнут обстукивать молоточком углы их дома. А мама сидит как девочка, поджав под себя ногу, и что-то рассказывает, рассказывает, щебечет, но Митя не слушает. Он уходит в свою комнату и затихает в кресле. И отчего-то кажется ему, вся его жизнь понеслась куда-то под обрыв, и не свернуть, не съехать. И горько: мама за сапоги с красными каблучками замуж выходит...

Яхты бывают разные, знает Митя, – гоночные, крейсерские, спортивные. У Мити крейсерская. Чертежи ему Толик дал, и с осени Митя вырезал лобзиком шпангоуты, вгладь подгонял шпоновые дощечки для обшивки, выпрашивал деревянные палочки для мороженого у продавщицы тети Веры и стеклышком шлифовал гик и мачту, выструганные из дубовой рейки.

Вечерами Митя с нетерпением ждал маму, чтобы усадить ее возле своей судоверфи на письменном столе и поговорить про корабельное дело.

– Это мачта, – показывал Митя. – Потрогай, какая гладенькая! Верх мачты называется топ, а низ мачты – шпор. Она проходит сквозь палубу до килевой балки и упирается в степс! – Митя с удовольствием произносит выученные корабельные слова. – Но у меня, мама, простая яхта, поэтому мачту я поставлю на палубу, и степс, получается, тоже будет на палубе. Правда интересно?

– Правда! – соглашается мама. – Откуда столько ты знаешь?

– Из книжек! – улыбается Митя. – Знаешь, есть такое смешное слово «шкаторина»? Спроси меня, что это такое?

– Шкаторина! Что это такое?

– Это, – радостно и торжественно объясняет Митя, он даже привскакивает, – место, где в кромку паруса вшивается тросик для крепости, чтобы парус не порвался от ветра. Мама, сшей мне, пожалуйста, такие паруса со шкаториной. Я хочу, чтобы все было по-настоящему!

Мама улыбается, ерошит ему волосы, и глаза у мамы счастливые, усталые.

– Чай-то пил?

– Пил. С молоком, по-английски!

Мама обнимает его, касается губами его щеки.

– А как яхту твою назовем?

– «Радость»!

Яхта строилась с радостью, и бывали дни, когда Митя торопил часы: так хотелось поскорее удрать из школы. И уже ясно представлялось, как он зажмет струбциной прямоугольничек трехслойной фанеры, натянет на лобзике новую пилку и поведет ее по карандашной линии, почистит стеклянной бумажкой и поставит номер, чтобы не сбиться при склейке.

Теперь же яхта почти готова, но мачта без паруса кажется такой незавершенной, неприбранной. Митя сидит рядом, уронив голову на сгиб руки, и с грустью разглядывает свое суденышко.

– Подожди еще немножко, – просит мама, – денька два, и я сошью твои паруса.

А сама вертится перед зеркалом с щипцами, и сильно пахнет горячим подожженным волосом.

– Сошью! И не делай таких трагических глаз!

Митя молчит. Густав теперь приходит каждый второй день, и собираются все на кухне, разговаривают, смеются.

– А я пью только стаканом, – гремит Густав, – до пояска наливайте!

– Обопьешь ведь нас! – замечает тетя Нэля.

– Все равно стакан лейте! По три глотка пить буду!

И Митя даже не раз бегал в магазин с запиской покупать вино. Записку писал Густав, быстро, размашисто, склонив блестящую черную голову. Щеки горели огнем. Отточенный карандаш царапал бумагу.

– А сдачу себе возьми. Шоколадку купи или чего там больше всего любишь.

Один вечер Митя до боли хорошо запомнил. Он торопился из магазина. Орала вороны и неистово кружились в хороводе над вспухшей рекою. Молотил пароходик, разгоняя по запани лед. С биржи тонко тянулся запах свеженапиленной доски. Звеня цепями, катили к проходной сквозные лесовозы, разбрызгивая из колеи водяные хлопья. Небо было высоким, но мутным – без солнца, без синевы – и оттого жалобным и печальным.

По дороге домой Мите, как назло, попался Толик.

– Что? – криво усмехнулся он. – Опять за вином посылали? Пасынком, говорят, сапожнику стал?

– А тебе, тебе какое дело? – крикнул Митя, леденя от ярости и обиды.

И все удивились и встревожились, какое страшное и бледное было у него лицо, когда он зашел на кухню.

А назавтра бабушка говорила:

– Мама всю жизнь свою бьется! Трудно ей одной! Как ты понять не можешь? Да! Да! Мы у нее с тобой есть, но этого мало, понимаешь, Митя, мало! – Бабушка вздыхала, вертела свои очки, вечно у нее дужки ломались. – На каникулы в Онегу соберемся. Там море, там пароходы. Там твой прадед Матвей свой первый карбас построил. Уж как он его тешил! Как и ты свою яхточку!

– Давай я починю тебе очки, – умиряясь, предложил Митя. – У меня и отверточка тонкая есть. Давай прямо сейчас, а то сломаются.

– За Густавом она как за каменной стеной будет! Ведь ты уедешь, Митя, окончишь школу и уедешь, и своя жизнь у тебя начнется, а ей? Как одной быть? Ты хорошо об этом подумал? – И бабушка посмотрела на Митю с жалобной улыбкой.

– Мама всегда со мной будет! А ты? Почему о себе ничего не говоришь?

– А что я? Сегодня есть, а завтра меня и нет... Митенька, пускай мама у нас счастливой будет!

Весенняя Онега кипела неожиданно ранними ручьями. Тугой морской ветер закидывал под облака чаек. И Митя сам был не свой от счастья, от свободы, от речного приволья.

Большой дом на Соборной улице с гремящей жестяной крышей – первый этаж каменный, второй будто из черных обугленных бревен – вызвал у Мити вполнощной восторг. И уже в первый день его было не дозваться! Высокий чердак, просторные, белые, как печи, отштукатуренные комнаты, скрипучие лестницы с вековыми перилами – все возбуждало интерес и любопытство, и все хотелось потрогать, и всюду хотелось заглянуть. Старинные кабинетные фотографии его прадеда Матвея и деда Петра, молитвенной прабабушки Екатерины и таинственных дядек и теток, в которых он узнавал, приглядевшись, черты мамы и бабушки и свои собственные черты – он так же хмурил брови, как прадед Матвей, – все они, прекрасные, таинственные, родные, взирали на него пытливо и ласково сквозь рамочное стекло, в котором ровно в полдень отражалось небо, и створки тонких в переплете окон, и рисунок тополиных ветвей. А он рылся – было позволено! – в необъятном книжном шкафу и среди скучных «костюмированных» романов и учебников вдруг обнаружил «Страницы русской морской летописи» с подробными картами побережий и островов и гравюрами парусных кораблей. Он открыл наугад на Синопском сражении и потерялся на весь день...

И тетя Аглая, бабушкина сестра, застав его за чтением – он утопал с головой в роскошном прадедовском кресле и хмурил брови – расплакалась от умиления.

– Дуся! Дуся! – причитала она в сильном душевном волнении на весь дом. – Митя совсем как наш папа! Он выбрал то же кресло и ту же книгу! Чудо, Дуся! Просто чудо! – и всплескивала руками.

И когда он замирал перед окном, разглядывая из любопытства улицу, пусть и недолго, так и это подмечалось тут же.

– Ибо, дорогие мои, перед этим самым окном, – здесь тетя Аглая делала многозначительную паузу и стучала костлявым твердым пальцем о край столешницы, – перед этим самым окном любил стоять дедушка Матвей. Сидит как-то у окошечка наш Матвей Илларионович, смотрит на реку Онегу, на пароходики, на парусники, одна голова торчит над подоконником. А мимо проходила по мосткам бабушка, глянула на него: «Здорово, дяденька!» А дяденьке-то пять лет всего!

И она смеялась, рассыпалась звонким девичьим смехом. И Митя смеялся и глядел с обожанием на тетю Аглаю.

– Парни-то онежские на Пасху окружили знакомую девушку, обнимают, целуют, а ему и не видно, что они делают! Выскочил из дома – семь лет уж было – дергает их за рубаху: «Парни, парни, и мне оставьте!» Думал, что кулич пасхальный делают! А в восемь лет отправили в церковь – опять же! – кулич святить. Сел он под церковную оградку в ожидании своей очереди да и уснул. Очнулся, а кулича-то и нет! Слез-то, слез пролил! Маменька едва утешила...

Ах, какие были вечера! Долгие, синие, чудные, и разговоры тянулись, как длинный китайский чай.

Еще одним чудом было забраться через слуховое окно на освобожденную от снега крышу и сидеть на коньке с дедушкиным морским биноклем, который увеличивал в пятьдесят раз и был снабжен угломерной шкалой для определения расстояния. И какая была роскошь разглядывать на городском рейде пестрые пароходы, низенькие катера, счаленные друг с другом у деревянного пирса, портовые краны у причальной стенки, ходовые или весенние знаки (вечером они зажигались красным и белым огнем), ловить взлетающий в небо серенький биплан и следить, как он кренится, заваливается на крыло в крутом развороте над городом.

Снег оседал, и с крыши легко было ощупать глазами, где прятались грядки у тети Аглаи, где притаивались узенькие дорожки, где хохлились кустики любимого пузыреплодника.

Шел ветер, трепал Митины волосы, надувал пузырем на спине брезентовую куртку. Пахло старой краской и еще сажей из дымовой трубы. И радостно было подойти и нагнуться над ней, крикнуть в черное прогорклое жерло подвывающим голосом:

– Бабушка! Тетя Аглая! – и слышать из теплой глубины их испуганные голоса.

За морем, за Кий-островом поднималась сизая туча, вырастала комом подтаявшего снега и сулила короткую вьюгу. Митя распрямлялся в полный рост, подходил к срезу, где обрывался конек, и представлял себя на капитанском мостике или – еще лучше – в гнезде наблюдателя на грот-мачте. В горле першило: своим завыванием он умудрился поднять разряженное облачко сажи и ей наглотаться.

Двор глубоко внизу дышал в полную грудь снегом и льдом. Свежий холод поднимался до Мити, охлаждал до колен ноги и смешивался с горячим воздухом крыши, но только с южной стороны. На севере было зябко, и Митя, вгоняя гвозди в кровельное железо, – он чинил крышу, прибывая отставшие листы, – ежился и поводил плечами. Брезентовая куртка, утяжеленная в карманах гвоздями, волочилась полой по крыше. Молоток стучал. И тетя Аглая, прислушиваясь, по своей сердечной слабости все не могла сдержать слез.

– Дусенька! – говорила. – Мастера выпестовали. До-мо-хозяин!

Когда обрушивался с моря снег, Митя погружался в раскопки старого комода. Его глубокие ящики хранили дедушкины богатства: записные тетради, лоции, химические карандаши, морские пуговицы, позеленевшие монеты, рогатые раковины, пузырьки с застывшим лаком, смоленые кабалки, крючки и гильзы, свернутые в рулоны карты. Как здорово было разворачивать их на столе, отяжелевшие от времени и ожидания, придавливать по упрямым краям толстенными книгами или гирями от настольных весов. Склоняться над ними с карандашом и лупой. На картах обозначались мели и глубины, острова и бухты, в которых можно было укрыться. Все это, комодное, старинное, необыкновенное в своей простоте и служившее верой и правдой долгие годы, рассматривалось, перекладывалось, изучалось с помощью лупы с великой дотошностью и удивлением, а все записки с тщанием прочитывались...

Вечерами тетя Аглая вынимала из шкафа толстые фотографические альбомы, просмотренные за четыре дня в десятый раз, но всегда что-то вспоминалось новое и яркое, и непременно требовалось рассказать. Не рассказать – так и уйдет, канет, поэтому так важно учитывать, что еще, слава богу, живы и в памяти, а ведь придет время, Дусенька (Митя, слышишь?), и некому будет рассказать, вот хотя бы об этой девочке в чепце и в белой распашоночке.

– Митя! Ты должен послушать! Ты – последний мужчина в нашем роду! – И тетя Аглая протягивала через стол руку и ласково пожимала ему пальцы. – Запомни! Эту девочку звали Люба. Она в семнадцать лет ушла добровольцем на фронт. Это в сорок первом году, и прошла с боями до Восточной Пруссии!

Летели дни. Короткие десять дней, три из которых Митя получил по справке, как насквозь простуженный. Он поздно ложился и спал как убитый и страшно расстраивался, если тетя Аглая будила его по доброте душевной не в шесть утра, как он настоятельно требовал, а часа через два, а то и через три, и эти часы были бесполезно потеряны...

Он многое хотел успеть, наверстать, и чем ближе придвигался день отъезда, тем тревожней и печальней становилось его лицо...

В своем чемоданчике он увозил в Архангельск не только «Страницы морской летописи» и «Словарь морских и речных терминов», но и набор дедушкиных надфилей начала века в толстом кожаном пенале с английской надписью «Sheffield», тонкий буравчик с деревянной отшлифованной ручкой и измерительный циркуль «S.J.Addis», состоящий из двух ножек с острыми кончиками. Настоящее сокровище!

В прощальный вечер они пили чай с малиновым пирогом – тетя Аглая никогда не варила варенья, она замораживала ягоды в холодильнике, и восхищенный Митя сидел с полной чашкой оттаявших ягод, чуть-чуть припорошенных сахарным песком, и сияющими глазами поглядывал на тетю.

За окнами скоро синело. По деревьям, словно спотыкаясь, брел подвянувший ветер. С моря несло *букóрки* – хлопья мокрого снега. Уезжать не хотелось, так быстро Митя привык к этому дому, так прижился в этих полупустых гулких комнатах с темными, словно сумеречными, шкафами, буфетами домашней работы, венскими стульями, чьи круглые сиденья хранили с изнанки изображение царских орлов. И этот стол в его комнате с выточенными ножками, похожими на перевернутые шахматные фигуры – четыре офицера, – с необъятной столешницей и мордой льва на выдвижном ящичке теперь будто бы и не его стол, хотя еще разложены по всему полю его рукой непрочитанные (не успел!) подшивки журнала «Вокруг света», и карандашные рисунки, которые он оставлял на память дорогой тете Аглае, и рожок сигнальный, и компас на кожаном ремешке, найденные на чердаке.

И, как всегда, перед дальней утренней дорогой ему не спится и думается о многом, и прежде всего о маме. Все же он соскучился и с каким-то заолодевшим сердцем ожидает скорой встречи с ней. И снова будет неизбежный Густав, и его записочки, и сидение в его мастерской. Конечно, убеждал себя Митя, он хороший, золотые руки, и маму он любит, раз встречает ее у заводской конторы и провожает до дому и дарит ей кисточки мимозы. И если маме хорошо с Густавом, так и Митя не должен мешать – пусть она вся от счастья светится.

– Бабушка! – Он прокрадывается по коридору в ее комнату. – Бабушка, ты еще не спишь? – спрашивает он горячим шепотом. – А может быть, мы с тобой у твоей сестры Аглаи жить останемся? Я ведь только мешать буду и Густаву, и маме... А здесь я все буду делать по дому: и печи топить, и воду носить – все, что потребуется!

– Что ты, Митенька? – Бабушка распахивает руки и прижимает его к груди. – Что ты такое удумал? Миленький!

Гремит и гремит поезд, ползет по неровным рельсам, громко шелкает на стрелках. И чем ближе к родному Архангельску, тем отчего-то больше снега и больше ветра, или так просто кажется?

На снежном продувном перроне их встречает мама. Митя сразу увидел ее, и сердце тут же вздрогнуло от жалости. Мама стояла одиноко, от всех будто в сторонке, и куталась в серенький пуховой платочек. Мела поземка, бежала, оплетала ноги, заглядывала под вагоны.

Вздремели двери, опустилась подножка, и мама шагнула вперед, протягивая руки.

Потом они, ссутулившись, брели до автобуса. Бабушка молчала, будто что-то чувствовала, и наконец мама, собравшись с силами, призналась:

– А Густава больше нет. И не будет. И ни сапог, и ни сапожника! – Она остановилась и с грустной улыбкой посмотрела на бабушку, а потом на Митю. – Сапоги-то он мне показал. Сказал только, пряжечку вот сюда пришью, модно это, и подарю наконец. И пропал! На целую неделю пропал. И мастерская на клюшке! А двадцать девятого я побежала на переправу, а там Маша с Проездной улицы в обещанных сапожках по пристани расхаживает – каблочки красные! Увидала меня и носик вздернула!

Бабушка горестно покачала головой, поправила маме сбившийся платочек и сказала:

– Да ладно, Катенька, ладно!

Мама улыбнулась, но Мите почудилось, что она плачет, или это ветер выжимал слезы? Подошел автобус. И они поехали серыми скучными улицами.

– Как я соскучилась по тебе, Митенька! – тихо сказала мама и крепче прижала его к себе. – Замерз? Тетя Нэля нас с блинами ждет, сказала, напеку Мите целую гору! А паруса для твоей «Радости» со шкакторинами я тебе, Митенька, сшила. Сшила, мой миленький!

